

## СТАЛИН В ВОСПОМИНАНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ДИПЛОМАТА

(беседа английского политолога Джорджа Урбана  
с бывшим британским послом в СССР  
Фрэнком Робертсом\*)

### „Дядя Джо” и Прибалтийские государства

**Урбан:** Я бы хотел завершить наш портрет Сталина как руководителя и как человека. Вы встретились со Сталиным в 1951 г., через несколько месяцев после того как Гитлер приступил к осуществлению своего плана „Барбаросса” и Сталин оказался в весьма затруднительном положении.

**Робертс:** Да. В сущности, я бывал в России и прежде, когда был вместе с Уильямом Стрэнгом, советником нашего посла на англо-французских переговорах с русскими. Целью переговоров было добиться от русских сотрудничества в деле предотвращения гитлеровского нападения на Польшу. Тогда я пробыл в Москве лишь неделю и не видел Сталина. Моя первая встреча с ним состоялась во время визита в Москву Антони Идена в декабре 1941 г. Немцы стояли у ворот Москвы, и поражение Советского Союза рассматривалось как весьма

\* Послом в СССР Робертс был в 1960—1962 гг.; в 1945—1947 гг. он был британским посланником и поверенным в делах в Москве; в 1947—1949 гг. — главным личным секретарем министра иностранных дел; в 1949—1951 гг. — заместителем Верховного Комиссара в Индии; в 1954—1957 гг. послом в Югославии и в 1963—1968 гг. послом в ФРГ.

вероятное. Ситуация на фронте была столь ненадежной, что, приехав в Москву через остров Медвежий, Мурманск и далее — вниз, вдоль финской границы, мы не знали, сможем ли мы вернуться назад тем же маршрутом, или нам придется возвращаться через Дальний Восток.

Первый контакт в военное время между британским правительством и советским руководством состоялся через Бивербрука, за месяц или два до нашего прибытия. Он отправился в Москву для выяснения, в чем больше всего нуждается Сталин, чтобы продержаться. К изумлению Идена, на первой же встрече Сталин начал с того, что поднял вопрос о послевоенных границах Советского Союза. Он заявил нам: „Я хочу ваших гарантий в том, что, когда наступит момент мирных переговоров, вы поддержите мои претензии на Прибалтийские государства, Восточную Польшу (разумеется, он упоминал эту территорию не как Восточную Польшу), Бессарабию и часть Финляндии”.

**Урбан:** То есть Сталин хотел добиться от западных союзников того, чего, как ему казалось, он добился от Гитлера на основании секретных соглашений 1939 г.

**Робертс:** Да, и это было мне особенно интересно. Дело в том, что когда Стрэнг и я вели с русскими переговоры в 1939 г., у Сталина было достаточно причин прервать эти переговоры и начать их с Гитлером, и одна из них, несомненно, заключалась в том, что в наши намерения не входило предоставление ему Прибалтийских государств и, уж тем более, — восточных территорий нашего союзника — Польши.

**Урбан:** Сталин достаточно ясно заявил о своих претензиях в 1939 г.?

**Робертс:** О, более чем! Это был один из главных вопросов. Сталин сказал: „Нас беспокоит германское влияние в пограничных с нами странах — Литве, Латвии и Эстонии, точно так же, как вы, в Англии, обеспокоены тем, что происходит в Бельгии и Голландии. Поэтому мы хотим поддержки с вашей стороны. Мы хотим, чтобы вы уважали наши интересы на тех

территориях, которые раньше входили в состав царской России". Он не сформулировал свои требования на включение этих территорий в состав СССР буквально, но из его слов было очевидно, что советский контроль над этими странами должен быть установлен.

Когда мы прибыли в Москву, мы привезли с собой инструкции французскому послу (и это весьма необычный комментарий к отношениям между Чемберленом и французами), который должен был присоединиться к нам в этих переговорах. (Вы только представьте себе, что бы сказал Де Голль, если бы англичане привезли инструкции его послу!) Когда французский посол прочел то, что мы привезли, он тут же сказал: „Здесь чего-то не хватает. Что мы будем делать с Прибалтийскими государствами? Разве мы не отдаем их русским?“. Мы были несколько шокированы. Как мы могли отдать Сталину независимые государства? Тогда посол сказал: „Ну что ж, в таком случае мы напрасно тратим время“, и он был прав. Он знал, что было у Сталина на уме.

Таким образом, мы имели перед собой Сталина, который в 1939 г. потребовал от нас отдать ему Прибалтийские государства, и которые мы ему дать не могли. А Гитлер мог, поэтому Сталин и решил иметь дело с Гитлером. Затем Гитлер напал на Польшу, и Сталин получил от него то, что хотел. Но когда Гитлер напал на Россию в 1941 г., он забрал все это назад.

**Урбан:** Так что у вас не вызывают большого доверия заверения советской стороны в 1988 г., что у СССР не было никаких дурных намерений по отношению к Прибалтийским государствам в 1939 г., а также утверждения некоторых советских официальных представителей (Валентина Фалина, например), что в советских архивах не обнаружено никаких секретных протоколов?

**Робертс:** Абсолютно никакого доверия. Как я уже сказал, Сталин хотел получить от нас Прибалтийские государства еще в 1939 г., а тексты секретных протоколов (от 23 и 28 августа 1939 г.) есть в Германии и повсеместно опубликованы. Если политика гласности будет продолжаться, то у меня нет

никаких сомнений, что рано или поздно, эти документы найдутся и в советских архивах. В любом случае, Юрий Афанасьев, выдающийся советский историк, выступая в Таллине 23 августа 1988 г., признал, что секретные протоколы должны быть присоединены к документам Пакта Молотова—Риббентропа, и что присоединение Эстонии к СССР было результатом этих протоколов.

Но давайте вернемся к моему рассказу — мы вели переговоры со Сталиным в декабре 1941 г., немцы были буквально в 20 км. от Москвы, а Сталин по-прежнему настаивал на том, что когда война закончится, он хочет получить назад Прибалтийские государства и Восточную Польшу. Эта грубая сталинская прямота подтолкнула меня на размышления о нашей собственной политике в польском вопросе. В течение всей войны, когда я занимался этой проблемой в министерстве иностранных дел в Лондоне, я остро ощущал, что мы должны сделать все возможное, чтобы добиться соглашения между поляками и русскими прежде, чем Красная Армия займет все эти территории. В какой-то степени нам это удалось: мы вынудили Сталина и Сикорского подписать договор, согласно которому польские войска были выведены из России. Но затем наступили три катастрофы, разрушившие абсолютно все: обнаружение захоронения польских офицеров в Катynie, смерть Сикорского и, наконец, нежелание Сталина поддержать варшавское восстание 1944 г.

**Урбан:** Тот факт, что Сталин поднял вопросы, касающиеся столь далекой перспективы, когда немецкие войска находились на расстоянии 20 км от Москвы, показывает нам, что это был человек с железными нервами, которого трудно смутить чем-нибудь, или, по крайней мере, который умел использовать деликатные ситуации с выгодой для себя и производить впечатление на свою аудиторию. Было ли у вас тогда такое ощущение? В июне и июле, через несколько недель после немецкого нападения, Сталин, как нам известно из свидетельства очевидцев, был явно испуган и растерян. Но к моменту вашей встречи к нему, похоже, вернулось самообладание, хотя ситуация на фронте оставалась отчаянной.

**Робертс:** Сталин совершенно не выглядел испуганным. В сущности, к моменту нашего прибытия в Москву немецкое наступление было остановлено и свежие сибирские войска начали весьма успешное контрнаступление. Пожалуй, за несколько месяцев до того Сталин мог пребывать в несколько ином расположении духа. Как бы там ни было, его решение начать разговор с обсуждения послевоенного статуса Прибалтийских государств и Восточной Польши всех нас удивило. Иден сказал ему: Г-н Сталин, может быть, нам лучше поговорить о том, как выиграть войну, прежде чем мы начнем обсуждать, что делать, когда она закончится? Мне хотелось бы продолжить разговор, начатый лордом Бивербруком, о том, чем мы можем вам помочь". В любом случае Иден не ответил ни положительно, ни отрицательно на требование Сталина. Он просто отметил, что в настоящий момент это не самая подходящая тема для разговора.

**Урбан:** *Насколько я понимаю, Сталин не упоминал другие страны Восточной и Центральной Европы, которые он хотел бы включить в свой послевоенный пояс безопасности?*

**Робертс:** Нет, он был одержим тем, что при иных обстоятельствах он мог бы определить как традиционные русские имперские владения. И, я полагаю, он хотел произвести впечатление умеренного человека, поскольку, к примеру, он не запрашивал всю Финляндию.

**Урбан:** *Джилас в своих воспоминаниях о разговорах со Сталиным говорит, что, согласно сталинской схеме мира, территориальные пределы Советского Союза были недостаточно обширными, Красная Армия должна была обеспечить экспорт советской системы, хотя эта мысль могла быть сформулирована в иных выражениях. Я полагаю, что в декабре 1941 г. Сталин еще не мог высказать подобного рода точку зрения. В любом случае, скажи он это Идену, британская сторона отреагировала бы на такое заявление крайне отрицательно.*

**Робертс:** Декабрь 1941 г. был неподходящим моментом для спора об экспорте советской системы. Но это было именно

то, что больше всего беспокоило лондонских поляков: в сущности, одной из причин, по которой переговоры между нами и Сталиным в 1939 г. были прерваны, было требование Сталина позволить ему послать войска в Польшу для ее защиты. Согласно сталинской логике, это была весьма разумная идея. К ней трудно было придаться, когда он утверждал: „Если я должен оказать Польше военную помощь против Гитлера, то у меня должно быть право выдвинуть свои войска для того, чтобы сделать это. То есть у меня должно быть право ввести свои войска на польскую территорию". Однако с польской точки зрения это представляло собой наибольшую опасность. Лондонские поляки совершенно справедливо подозревали, что как только сталинские войска окажутся на польской территории, они приступят к осуществлению того, для чего, согласно сталинским словам Джиласу, они были предназначены — к установлению новой политической системы и ликвидации прежней.

**Урбан:** *Какое впечатление произвел на вас Сталин как человек? Один из его бывших секретарей Борис Бажанов сказал мне, что он был человеком средних умственных способностей, но задиристым интриганом и хитрым аппаратчиком. С другой стороны, Аверелл Гарриман сказал, что это был величайший лидер, хорошо осведомленный во всех делах.*

**Робертс:** Одна из причин, по которой Сталин не произвел на западных лидеров отрицательного впечатления, заключается в том, что он, в отличие от Гитлера и Муссолини, не вел себя как истеричный диктатор. Он был спокойным человеком. Он был небольшого роста, хотя на фотографиях ему всегда старались придать вид высокого и массивного человека. Я, помнится, даже обратил внимание на то, что он меньше меня ростом, т. е. чуть больше пяти футов, и что у него очень тихий голос. Я не знаю, как он разговаривал со своими людьми, когда те находились непосредственно перед ним, но у меня почему-то такое впечатление, что он никогда не кричал на них. Когда же Сталин разговаривал с иностранными визитерами, он, конечно же, никогда не повышал голос. И это впечатляло. Никаких напыщенных тирад или бредовых речей, а'ля Гитлер и Муссолини не было.

Был ли он в курсе всех дел? У меня всегда было такое впечатление. Он приходил на встречи с нами прекрасно подготовленный; он никогда не обращался, да и никогда не испытывал в этом нужду, к своей свите за подсказкой. Вообще, это было характерно для советского руководства. Если Сталин вел переговоры, то Молотову очень редко позволялось сказать что-нибудь, а Вышинскому — никогда. Но если Молотов возглавлял советскую делегацию, то Вышинскому никогда не давали слово, и уж тем более — кому-либо из профессиональных дипломатов. Кто бы ни вел переговоры, он всегда был хорошо подготовлен и великолепно ориентировался в теме переговоров, и Сталин — лучше, чем все остальные. Он совершенно не производил впечатление человека, который только что перенес чудовищное поражение и был, как говорится, поставлен на колени. Антони Иден, который всегда выступал за то, чтобы иметь дело с русскими, был этим очень впечатлен.

*Урбан: Бивербрук после первой поездки в Москву заметил, что Сталин, конечно же, — злодей, но веселый злодей. В этом замечании чувствуется восхищение тем, что должно быть абсолютно чуждым и предосудительным для джентльмена, но в то же время является крайне интригующим. С таким человеком нельзя провести выходные дни где-нибудь в дорсетском имении, но это — парень что надо, когда речь идет о том, чтобы дать по морде япошкам и фрицам!*

**Робертс:** Конечно же, Сталин бывал веселым, особенно во время ночных банкетов, которые он так любил устраивать. Я думаю, что его злодейские черты не проступали явственно, когда он обращался с западными лидерами в те годы. Я все время вспоминаю историю (по-моему, она описана в вашей книге) о том, какие дни Сталин считал прожитыми не зря: задумать ловушку для ничего не подозревающего „врага”, в которую тот попадет, когда он, Сталин, будет спокойно спать в своей постели. Что ж, когда бы мне ни доводилось разговаривать со Сталиным лично, я всегда пересчитывал свои пальцы, чтобы быть уверенным, что я не потерял ни одного из них за время разговора, и я всегда говорил себе: „Слава Богу, что я — западный дипломат:

по крайней мере, я в безопасности”. Но политические лидеры Запада выносили из разговоров со Сталиным совершенно другое впечатление о нем.

*Урбан: Когда вы вели переговоры со Сталиным, отдавали ли вы себе отчет в том, что вы разговариваете с одним из величайших тиранов и преступников в истории? Может быть, мне следует сформулировать этот вопрос несколько иначе, поскольку вы, конечно же, отдавали себе в этом отчет. Но играл ли какую-то роль тот фактор, что Сталин был деспотом и убийцей, когда вы готовились к переговорам и старались предугадать, как он будет вести себя, если вы поможете ему? Аверелл Гарриман сказал мне, что его вообще не интересовала репутация Сталина в области внутренней политики, хотя ему было известно о его деяниях. Для него Сталин был союзником в кровавой войне, которую нужно было выиграть. Он сказал, что его исключительно интересовала политика Сталина во время войны, а не то, что он совершил до войны или совершит после войны.*

Меня заинтересовал этот вопрос, когда я прочел у профессора Вячеслава Дашичева, одного из наиболее известных советских историков реформистского толка, что провал англо-французской попытки договориться с СССР в 1939 г. во многом объясняется отношением Запада к сталинской репутации и его личным качествам. „Англии и Франции... трудно было, — пишет он в „Литературной газете” (18 мая 1988 г.), — иметь дело с верховным правителем, растоптавшим всякую человеческую мораль, учинившим ради утверждения своей авторитарной власти невиданные репрессии с применением жестоких, преступных методов”. Похоже, это противоречит тому, что сказал Гарриман.

**Робертс:** Я очень хорошо знал о действиях Сталина, особенно в 1937 и 1938 годах и прекрасно отдавал себе отчет в том, на что этот человек способен. Мою точку зрения разделял Джордж Кеннан, который во время моего первого назначения в Москву был посланником и часто — поверенным в делах в 1945—1947 годах, то есть являлся моим американским коллегой. От него я много узнал о России и Советском Союзе. Кеннану и мне было, конечно же, легче, поскольку нам не нужно было

почти ежедневно встречаться со Сталиным, как это делали наши послы: Гарриман — с американской стороны, и сэр Арчибалд Кларк-Кэпп — с британской. Мы оба отличались от наших послов в восприятии ситуации. Несмотря на то, что нашей главной заботой было выиграть войну и помочь Сталину разгромить немцев, мы оба сказали себе: мы сами не должны забывать и не допустим, чтобы наши правительства забыли, с кем мы имеем дело, поскольку имелась опасность, что сущность Сталина и сталинизма будут забыты. Позвольте мне забежать вперед, в 1944 г., для пояснения, что я имею в виду.

Когда Черчилль и Рузвельт начали иметь дело со Сталиным, они были склонны, несмотря на разногласия по вопросу о втором фронте и зачастую весьма грубые послания, исходившие от Сталина, потакать ему, что сказало и на их личных встречах. Черчилль и Рузвельт полагали, что если они будут относиться к „дяде Джо“ как к члену Клуба, то он рано или поздно начнет вести себя как член Клуба. Они совершенно забыли о том, что у „дяди Джо“ есть свой собственный Клуб, и что он не хочет становиться членом нашего Клуба. Рассуждениям такого рода наступил конец в 1944 г. Сначала от этого заблуждения избавился Черчилль, а потом, значительно медленнее, — Рузвельт. Однако пока оно длилось, оба деятеля весьма упорно его придерживались.

**Урбан:** *Хью Томас в своей великолепной истории раннего периода „Холодной войны“ („Вооруженное перемирие“, 1986) показывает, что даже после 1944 г. Черчилль время от времени поддавал под очарование Сталина и страстно стремился найти с ним общий язык. 7 ноября 1945 г. он сказал в Палате Общин: „Как счастливы все мы от сознания, что генералиссимус все еще крепко держит кормило власти... Лично я не могу испытывать ничего иного, кроме глубокого восхищения этим поистине великим человеком, отцом своей страны, вершителем ее судеб“.*

**Робертс:** Когда Гитлер напал на Россию, Черчилль, несмотря на свое потрясающее антикоммунистическое прошлое, заявил, что он готов иметь дело с самим дьяволом, если это поможет

разгромить нацистскую Германию. Но, как это часто случается под воздействием полярно противоположных исторических сил, наши позиции становятся более бескомпромиссны, чем того требует ситуация. Образ Сталина в сознании наших политиков в значительной степени был сформирован под впечатлением вышеупомянутых внешних качеств: что это спокойный человек с тихим голосом, который всегда был в курсе всех дел, который, казалось, все знал и держался скромно. Это впечатление было настолько сильным, что некоторые из наших руководителей начали относить те ужасы, которые говорили о Сталине эксперты по советским проблемам, к кому-то другому. Это было очень опасно.

Что касается Черчилля, дела обстояли несколько иначе, поскольку его иллюзии удерживались в рамках разумного нашими отношениями с поляками. Сталин, точно рассчитывая улыбки в адрес западных союзников, так и не смог вести себя прилично по отношению к полякам, и, как я выше уже сказал, по-моему, Черчилль окончательно убедился, что политика потакания Сталину является ошибочной, что к Сталину следует относиться как к потенциально опасному противнику, когда тот летом 1944 г. отказался поддержать варшавское восстание, особенно, когда он отказался позволить нам и американцам посадить наши самолеты на советской или польской территории, чтобы оказать поддержку осажденным полякам. Именно тогда Черчилль сказал: „Отныне мы должны относиться к Сталину иначе“.

**Урбан:** *Можете ли вы привести такой же пример из вашего собственного опыта?*

**Робертс:** В конце войны я был поверенным в делах в Москве. Г-жа Черчилль приехала в этот город получить советскую награду за средства, которые она, вместе с английским Красным Крестом, собрала для советского Красного Креста. В завершение визита русские хотели устроить в ее честь праздничный концерт в Большом театре. Но менее чем за сутки до концерта пришла телеграмма от Уинстона Черчилля, в которой говорилось, что Черчилль ни в коем случае не желает, чтобы его жена стала символом дружбы в советской столице, поскольку

Сталин вел себя отвратительно и его отношения со Сталиным серьезно осложнились. Я должен был передать это послание г-же Черчилль. Я не решился позвонить ей, поскольку она оставалась в русской гостинице, которая, как мы знали, была до отказа забита подслушивающей аппаратурой. Когда я вручил ей послание Уинстона (с тех пор я восхищаюсь ею), она, взглянув на него, сказала: „А бывает ли, что телеграммы опаздывают?“ Я сказал: „Да, такое случается“. „А могло бы так случиться, что эта телеграмма пришла бы завтра, после концерта?“ „Могло бы, — ответил я. — Но как мы это объясним?“ „Что ж, — сказала она, — я напомню Винни о Нельсоне в битве при Копенгагене.\* Я думаю, это ему понравится!“ И она в назначенное время явилась на праздничный концерт. Она действительно не могла поступить иначе.

Я рассказываю вам эту историю, поскольку она свидетельствует, что к 1945 г. отношение Черчилля к Сталину было очень, очень плохим.

*Урбан: В какой момент войны в министерстве иностранных дел начали осознавать, что альянс с Советским Союзом может превратиться в бумеранг? Люди вроде вас имели то преимущество, что наблюдали советскую реальность изнутри и понимали ее. Но как и когда стал возможным скепсис или даже критические замечания об альянсе с СССР, и были ли какие-нибудь разговоры об альтернативе этому альянсу?*

**Робертс:** Трудно сказать. С июня 1941 г. до конца войны мы были союзниками. Мы, конечно же, крайне подозрительно относились друг к другу, и отсюда, среди всего прочего, было наше нежелание связываться с немецким сопротивлением. Мы думали, что Сталин может понять это иначе и, в конце концов, преподнести нам новый пакт Молотова—Риббентропа. С другой стороны, существовала сила общественного мнения, которое было на пользу России, поскольку русские потеряли миллионы людей и несли основное бремя войны. Было бы трудно повер-

\* Нельсон во время этой битвы сказал: „У меня только один глаз, и иногда я могу не видеть... Я не вижу сигнала“.

нуть против Советского Союза, независимо от того, сколь сильные возражения мог вызвать тот или иной шаг Сталина.

*Урбан: Но была ли реальная нужда в том, чтобы утаивать Катынь, например?*

**Робертс:** По мнению Черчилля, — была, особенно потому что в тот момент не было надежных доказательств. Он просто не желал усложнять отношения со Сталиным в критический момент войны.

Кроме того, существовала точка зрения, которой Рузвельт придерживался даже тверже, чем мы: что, когда война будет выиграна, нам придется управлять Германией и Австрией, а также другими частями мира вместе с очень необычным союзником, но это был единственный серьезный союзник, который у нас был. Поэтому для нас было жизненно важно заставить русских вести себя хотя бы чуточку лучше, чем, как мы опасались, они намереваются вести себя в Восточной Европе. Более того, очень важно было убедить русских вступить в войну с Японией, поскольку в то время еще никто не знал, сработает атомная бомба или нет, и если да, то приведет ли это войну с Японией к быстрому окончанию. Американцы опасались, что при высадке на острова и завоевании самой Японии будет потеряна миллион жизней. Наконец, следует понять, что в тот момент все думали (хотя сегодня это кажется удивительным), что будущее мира зависело от успеха Организации Объединенных Наций, в которой, в отличие от Лиги Наций, участвовали бы как США, так и СССР, как ведущие силы этой организации.

По всем этим причинам в Лондоне считали, что, несмотря на опасения Черчилля, стоит попытаться. Между прочим (я опять забегаю вперед), эту точку зрения разделяло лейбористское правительство, несмотря на крайне сдержанное отношение Эрнри Бевина к коммунизму. Будучи лидером профсоюзов, он познал на себе тактику коммунистов и с тех пор не выносил их. Тем не менее, в начале 1946 г. Бевин, будучи министром иностранных дел в лейбористском правительстве, прислал в Москву нового посла с текстом договора на 50 лет, который должен был прийти на смену альянсу военных лет. Он был не одинок в этих усилиях.

В 1946 г. как Трумэн, так и госсекретарь Бернс следовали тем же курсом, все еще надеясь, что мы сможем договориться с Советским Союзом вместе править миром.

**Урбан:** *Похоже, после смерти Сталина Черчилль очень хотел возобновить диалог с наследниками Сталина о воссоединении Германии. Считал ли он, что у него было больше шансов договориться с ними, чем со Сталиным, и что таким путем он укрепит безопасность весьма ослабленной Британии? Или же это был лишь очередной взлет богатого воображения Черчилля – внезапный взрыв активности на склоне лет?*

**Робертс:** Инициатива Черчилля, вероятно, была вызвана всеми этими причинами. Из этого, конечно же, ничего не вышло, и я вам честно скажу, нам следует радоваться, что из этого ничего не вышло, поскольку гамбит Черчилля повлек бы за собой поворот на 180 градусов в политике, проводимой тогда американским, британским и французским правительствами, которые, в согласии с западногерманскими властями, стремились к восстановлению суверенитета Западной Германии и ее интеграции в структуру западного демократического мира. Уже в 1952 г. Сталин сам сделал предложение, которое можно было интерпретировать как проект воссоединения Германии. Западные правительства и, разумеется, Аденауэр увидели в этом предложении тактический ход, вызванный теми же побуждениями, что и приведшие к блокаде Берлина в 1948 г.

В лучшем случае предложение Черчилля могло поставить под угрозу интеграцию Западной Германии в свободный мир, в худшем же оно дало бы советским руководителям столь желанную для них возможность отделить западных союзников от немцев и вызвать раскол между ними. Советские лидеры хотели уклониться от свободных выборов в Германии так же ловко, как они это сделали в Польше, и сосредоточить дискуссию на назначении всегерманского правительства, у которого не было бы свободы определять собственную политику и которое было бы сковано режимом нейтралитета.

Всем, кто определял в тот период политику Запада по отношению к Германии, а также Аденауэру и его коллегам в

Бонне, риск подобного поворота политики казался слишком большим. У Запада и у Востока в их отношении к Германии в то время была одна общая черта: для обеих сторон синица в руках была гораздо важнее журавля в небе. Если бы гамбит Черчилля был принят, наша синица могла бы улететь, а журавль по-прежнему оставался бы высоко в небе. Западная Германия была ключевым элементом в плане Маршалла по экономическому возрождению Западной Европы.

#### Черчилль и поляки

**Урбан:** *Вернемся к 1945–1947 годам. Похоже, у вас и Джорджа Кеннана был чрезвычайно интересный опыт, поскольку вы, занимавшие в соответствующих посольствах посты № 2, могли высказываться более откровенно, чем ваши послы.*

**Робертс:** Да, в 1946 г. Джордж Кеннан и я, когда нам доводилось замещать послов, предупреждали свои правительства, что сотрудничество с русскими будет нелегким и что поведение советских руководителей нельзя измерять нашими мерками. Это несколько напоминало предупреждения дипломатов Чемберлену, что при ведении переговоров с Гитлером он не должен забывать, с каким типом человека он имеет дело. Чемберлен никогда не мог до конца осознать, что Гитлер и его веселая команда не будут эволюционировать (как он ожидал) в направлении грубоватого, но, в принципе, приемлемого правительства. Только Фултонская речь Черчилля покончила с колебаниями в этом вопросе, даже если Бевин отнесся к ней критически, полагая, что для речи был избран неподходящий момент.

**Урбан:** *Наталивались ли ваши сообщения из Москвы на сопротивление в министерстве иностранных дел? Как широко распространялись ваши донесения? Кеннан в своих мемуарах рассказывает, что порой такое случалось в Государственном Департаменте.*

**Робертс:** Я очень тесно сотрудничал с Джорджем Кеннаном, и, если вы прочтете наши предостережения из Москвы, то



заметьте, что они были очень похожими. Я никогда не получал из министерства иностранных деп таких ответов, что, мол, вы ошибаетесь, вы слишком откровенно не симпатизируете нашему русскому союзнику. Отнюдь. Взаимопонимание было полным. Я ни в коем случае не шыл против течения. Так что, наряду с мнением, что мы должны продолжать наши попытки, нарастало убеждение, что наладить сотрудничество с русскими не удастся, и что лучше заранее подготовиться к этому.

**Урбан:** *Негодовали ли в Лондоне в связи с тем, что Рузвельт и Сталин занимали антиколониальную позицию и не делали секрета, что надеются на развал Британской империи как один из результатов войны? Вы были в Ялте, когда Черчилль оскорбился, и его пришлось уговаривать вернуться за стол переговоров?*

**Робертс:** Да, был, но прежде чем рассказать об этом эпизоде более детально, позвольте мне сказать, что Черчилль негодовал по поводу враждебной позиции Сталина и Рузвельта к империи. Разумеется, идея атаковать Британскую империю весьма бы соответствовала политике Сталина, но, к счастью для нас, в то время он не был достаточно силен для того, чтобы поддержать национально-освободительные движения в колониях, и, что особенно любопытно, он полностью осознавал, что он недостаточно силен для этого. Мы знаем об этом от Эрни Бевина. В 1947 г. он побывал в Москве на конференции четырех держав и у него состоялся длинный разговор (его единственный длинный разговор) со Сталиным, который произвел на него большое впечатление. Бевин вернулся в посольство и сказал нам: „Главное впечатление, которое я вынес из этого разговора – это что он не хочет, чтобы мы ушли с Ближнего Востока, хотя Сталин и не сказал это прямо и в столь законченной форме. Он не достаточно силен, чтобы занять наше место, и он знает, что если мы уйдем, то вакуум будет заполнен американцами, а мы его устраиваем там больше, чем более сильные американцы”. Такова была, грубо говоря, сталинская позиция по отношению к империи в первые годы после войны.

**Урбан:** *А как же насчет претензий, которые он заявил по поводу Средиземноморья – относительно того, чтобы заменить Италию как средиземноморскую державу в Ливии?*

**Робертс:** По-моему, это была попытка изобразить великодержавную вседозволенность. Это прозвучало весьма впечатляюще, особенно для самого Сталина, но, я думаю, он знал, что у него нет возможности сделать это.

Наивысшего водораздела совместная советско-американская оппозиция Империи достигла на Ялтинской конференции. Рузвельт явился на одну из встреч (я был там как представитель британской делегации), преисполненный решимости задобрить дядю Джо. На самом деле не было никакой нужды забавлять его, но Сталин играл круто, а Рузвельт этого не замечал или не хотел заметить. Он полагал, что ему нужно каким-то образом уговорить Сталина войти в ООН и вступить в войну против Японии. Оба эти шага, разумеется, весьма соответствовали интересам самого Сталина, но он, как я уже сказал, изображал из себя отстраненного наблюдателя, дожидаясь, чтобы его уговорили. Один из способов, которым Рузвельт пытался умяснить его, заключался в том, чтобы показать Сталину, что у него, Рузвельта, нет какого-то особого альянса с Черчиллем, из которого Сталин исключен, что Сталин является равным и уважаемым членом в этой команде.

**Урбан:** *Рузвельт отказался иметь сепаратную встречу с Черчиллем, чтобы у Сталина не появилось впечатление, что два „англосакса” сговариваются за его спиной?*

**Робертс:** Да, именно так. Во всяком случае, Рузвельт стал подшучивать над Черчиллем, делая общие замечания, что в современном мире нет места для империй, и что восстановление империй несколько не в духе нашего времени. Уинстон был, как вы знаете, неисправимым импералистом. Он воспринял эти замечания как личное оскорбление и явно обиделся. Кроме того (как мы узнали от него позже), он считал весьма дурной тактикой унижать ближайшего союзника Америки перед Сталиным. Поэтому он встал, чтобы выйти из комнаты. Действительно



ли он намеревался это сделать — никто не знает. Рузвельт сидел в кресле и из-за своей болезни не мог встать. Он, конечно же, не предпринял попытки остановить Черчилля. Это сделал Сталин, который тут же встал, обошел стол и сказал: „Нет, нет, господин Черчилль, я уверен, что президент всего лишь пошутил. Вы же знаете, как мы восхищаемся вами и подвигами англичан в этой войне”, — и вернул Черчилля за стол. Это был очень мудрый шаг.

**Урбан:** Были ли подозрения британского правительства относительно советского руководства известны британской общественности, скажем, в 1945–1946 годах? Во время войны Черчилль тщательно заботился о том, чтобы похвала в адрес Советского Союза и пропаганда в поддержку военных усилий русских не были использованы британской компартией в ее интересах. Просоветская пропаганда велась самим правительством и имела четко очерченные границы. Это должно было облегчить смену курса и подготовки общественности к жестким реалиям послевоенной эпохи. Верно ли это?

**Робертс:** Довольно долгое время эти реалии никоим образом не влияли на общественное мнение Британии. Общее настроение было таково: „эти великолепные союзники по войне” заслуживают доверия и помощи. И они действительно заслуживали помощи. Сталин — это другое дело. Обсуждавшееся за закрытыми дверями и в секретных телеграммах и письмах не было известно до тех пор, пока Трумэн не стал президентом и правда о советской системе и о советском экспансионизме не начала ежедневно формировать западное общественное мнение. Коммунистический путч в Чехословакии в феврале 1948 г. стал поворотным пунктом, хотя коммунистическая аннексия Румынии и Болгарии, а также смещение Ференца Надя в Венгрии летом 1947 г. уже были явными предупреждениями. Но общественное мнение меняется не быстро.

**Урбан:** Я пытаюсь понять, всегда ли это было так, и что значит „быстро”.

*Я был потрясен во время недавнего визита в Германию,*

*услышав, что общественная кампания против тренировочных полетов западногерманских и союзных ВВС на низкой высоте была основана на аргументе, что сейчас наши отношения с улыбочивым Михаилом Горбачевым настолько хороши, что непонятно зачем нам такие полеты? Ведь это же подготовка к войне! Фактор Горбачева, похоже, за пару лет превратил немецкий „образ врага” в нечто близкое к „образу друга”. Сама идея „образа врага” все больше отделяется от Советского Союза как в западногерманском общественном мнении, так и, что меня еще больше поразило, в сознании военнослужащих.*

**Робертс:** Эти два феномена нельзя сравнивать. В 1945 г. Британия только что закончила изнурительную войну. У нее не было моральных сил для нового конфликта и меньше всего — для конфликта со страной, которая сыграла ключевую роль в обеспечении победы над Германией, принесла в жертву как людей, так и материальные средства. В этой стране не было традиции рассматривать русских сквозь призму „образа врага”, который правительственная пропаганда могла бы возродить, когда сталинская послевоенная политика начала сказываться на общественном мнении. При всем этом, через три года после капитуляции Германии перемена в общественном мнении произошла, что сравнимо с тремя годами, которые потребовались Горбачеву и другим силам, чтобы пейтрализовать „образ врага” применительно к Советскому Союзу. Учитывая настороженность немцев по отношению к Советскому Союзу, удивителен скорее поворот (если мы не заблуждаемся относительно происходящего) в восприятии немцев во второй половине 1980-х годов, чем некоторое нежелание британского общественного мнения в конце 1940-х годов признать в людях Сталина нового врага.

**Урбан:** В скобках можно заметить, что нынешнее настойчивое требование советской стороны ликвидировать все следы образа врага в нашем восприятии и в подходе к Советскому Союзу звучит несколько фальшиво. Разве образ врага не восходит к 1917 г.? Разве можно оспаривать тот факт, что „образ врага” всего некоммунистического мира заложен в марксовом предупреждении: „Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма”?

**Робертс:** Да, трудно найти хотя бы один пункт в планах и программах коммунизма, институционализированных в Советском Союзе, который не исходил бы из тезиса о враждебности буржуазного мира, подлежащего разгрому. Именно неизбежность этого разгрома лежит в основе коммунистического мышления. Горбачев читает священные тексты по-новому, однако, есть основания сомневаться, выживет ли система, если он переписет их или отречется от них.

**Урбан:** Вернемся к Ялте. Часто говорят, что Рузвельт был уже настолько болен к тому времени, что то, как он вел дела на Ялтинской конференции, оставяло желать много лучшего; иначе говоря, он отдал гораздо больше, чем отдал бы здоровый и уверенный в себе президент.

**Робертс:** Это миф. Рузвельт, несомненно, был болен, очень болен. Когда мы, члены британской делегации, встретились с ним на Мальте накануне Ялтинской конференции, мы были потрясены тем, насколько больным он выглядел. Но это несколько не повлияло на его поведение в Ялте. Просто у него с Черчиллем были разные приоритеты. Рузвельт приехал туда, чтобы уладить четыре вопроса: согласовать проблему оккупации Германии, что было сделано, хотя и отняло массу времени; сделать все, что мы могли, для Восточной Европы (что было английским приоритетом); убедить Сталина сотрудничать с нами в ООН и, в четвертых, в конфиденциальной обстановке убедить его вступить в войну с Японией. Три из этих четырех вопросов были улажены. В то время некоторые полагали, что четвертый вопрос — о Восточной Европе — тоже был урегулирован. Никто не мог посотовать, что на бумаге достигнутые соглашения не выглядели великолепно — Декларации об Освобожденной Европе и о Польше звучали очень приятно. Они предусматривали свободные выборы, и кое-где они действительно были проведены, например в Польше и в Венгрии. Но у тех, кто имел дело со Сталиным по польскому вопросу, были серьезные сомнения относительно того, насколько соглашения будут соблюдаться. Было совершенно ясно, что там, где Красная Армия устанавливала свой контроль, бумажные декларации значили очень мало.

**Урбан:** Среди „ревизионистских” авторов в горбачевской России становится все более популярной точка зрения, что утверждение советской системы в Восточной Европе на остриях советских штыков в долгосрочной перспективе противоречило интересам Советского Союза и „социализма”. Все тот же профессор Дашичев, которого я уже цитировал, замечает, что сталинскую политику в послевоенной Восточной Европе следует характеризовать как „левоэкстремистский бланкизм и троцкизм” и как чуждую ленинскому завещанию и природе социализма. Дашичев весьма неодобрительно отозвался о „гегемонистских, великодержавных амбициях сталинизма”. Юрий Афанасьев в интервью итальянской газете „Ла Stampa” (1 сентября 1988 г.) высказал сходные мысли.

**Робертс:** Я приветствую эти запоздалые признания. Увы, точка зрения Дашичева даже при Горбачеве весьма далека от того, чтобы стать официальной позицией; до сих пор нет никаких признаков, что в Кремле появилось желание сократить свою империю.

**Урбан:** Что касается польской проблемы, то, по-моему, между вами и Черчиллем сложилась особая атмосфера доверия по этому вопросу. Как Черчилль относился к полякам и многочисленным бедам, свалившимся на их голову?

**Робертс:** Черчилль лично был очень предан полякам. Зачастую он очень романтично воспринимал их храбрость и боевые качества, что было справедливо. Время от времени его сердило упорство лондонских поляков и он сетовал, что Сикорский погиб. Но это были временные вспышки. Его восхищение польским народом и чувством долга перед ним было непреходящим. Мне кажется очень важным опровергнуть кривотолки относительно чувств Черчилля на этот счет. Никогда он, как на то часто намекают, не рассматривал Польшу как пешку в игре между великими державами.

Мы приехали в Ялту для того, чтобы выбить максимум возможного. Нам очень хотелось вернуть Миколайчика в Польшу, потому что, хотя он больше не был премьер-министром

лондонского польского правительства, и он и мы понимали, что он был единственным после смерти Сикорского поляком, который мог чего-то добиться от русских. Он сказал мне, после того, как мы подписали Ялтинское соглашение: „У всех у нас есть опасения, но, пожалуйста, не забывайте, что несмотря на скептический настрой, я рад возможности вернуться и попытаться что-то сделать”. Действительно, на первых польских выборах Миколайчик и его партия добились очень хороших результатов — настолько хороших, что русские решили, что свободных выборов больше не будет.

Иначе говоря, все прекрасно понимали, что сделанное нами не было неожиданным чудесным решением для Восточной Европы, — мы просто делали то, что могли сделать самые лучшие дипломаты, оставив Красной Армии решать основную массу вопросов на месте. Черчилль разделял эти оценки, хотя и был несколько подаглив. После своего возвращения из Ялты он произнес речь в Палате Общин, о чем впоследствии весьма сожалел. Он хвалил соглашение и сказал: „Маршал Сталин и советское руководство желают жить в почетной дружбе и равенстве с западными демократиями. Я чувствую, что их слово является их залогом. Я не знаю другого правительства, которое столь твердо выполняет свои обязательства, порой даже вопреки своим интересам, как это делает русское Советское правительство”.

Честно говоря, я не думаю, что Черчилль действительно так считал. Однако он был в столь многих вопросах лишен поддержки Рузвельта, что, возможно, пытался отогнать призрак неприятного будущего таким экстравагантным чествованием нашего военного союзника.

**Урбан:** *Возможно ли было отказаться подписать Ялтинское соглашение?*

**Робертс:** Технически, конечно же, мы могли так поступить, однако что хорошего вышло бы из этого? В политической и психологической атмосфере, которая преобладала в то время, это было невозможно. Нам еще предстояло разгромить Германию и Японию и учредить ООН, в которую вошли бы СССР и США.

**Урбан:** *Было ли у вас и у американцев в Ялте, или позже, в свете результатов Ялты, ощущение, что в 1943 г. была утрачена великая возможность, поскольку англичане и американцы не открыли второй фронт в Западной Европе?*

**Робертс:** Лично я всегда был согласен с военными специалистами по обе стороны Атлантики, которые говорили нам, что в 1943 г. наши войска не были к этому готовы и что риск поражения был слишком велик. Мы сделали пробную попытку в 1942 г. в Дьеппе, но она окончилась плачевно; первоначальные военные действия американцев в Северной Африке и объединенных сил на Сицилии и на континенте в Италии оставляли желать много лучшего. Все были согласны, что вторжение в 1943 г. было бы преждевременным, хотя это единодушие не уберегло англичан и американцев от некоторых взаимных упреков относительно того, какая сторона была меньше готова к сражению. Мой друг генерал Беделл Смит, который был американским послом в Москве, когда я был там между 1945 и 1947 годами, часто говорил мне, что высадка до 1944 г. была бы провоцированием несчастья на свою голову. А он должен был в этом знать толк, поскольку был начальником штаба Эйзенхауэра.

**Урбан:** *В течение 1942 и 1943 годов Сталин весьма настойчиво требовал открытия второго фронта. На него, конечно же, сильно давили немцы и он нуждался в любой поддержке, которую мог наскрести. Но если бы его требование было выполнено, то, возможно, он закончил бы войну где-нибудь на Висле и в восточной Румынии, но Берлина, Праги, Будапешта и Софии он бы не получил. Я полагаю, что ни в 1942, ни в 1943 годах соображения такого рода еще не могли прийти на ум ни Сталину, ни Черчиллю.*

**Робертс:** Нет, не могли. Сталин бился за то, чтобы вышибить немцев. Самые кровопролитные битвы были еще вперед; потери измерялись миллионами; он нуждался в помощи, и мы давали ему все, что могли, но до второго фронта было еще далеко. В буре тех лет, когда все вокруг было столь неопределенным, послевоенный баланс сил не мог быть первостепенной заботой.

Если он вообще кого-то заботил, то меньше всего — Рузвельта, который и слышать не хотел об этом. Конечно же, Сталина огорчали отсрочки. Он сделал несколько крайне неприличных высказываний относительно королевских военно-морских сил и наших конвоев в Мурманск. Но у его страны не было традиций мореплавания, и он не понимал, с какими трудностями сталкивались наши суда в Северном море.

В любом случае, разве стремились бы мы иметь трудности со Сталиным, если их можно было избежать? Разве мы допустили бы русских столь далеко в Европу, если бы могли предотвратить это, высадившись на континенте раньше, чем мы это сделали? Факт остается фактом — мы не были готовы, и ничего не могло быть страшнее, чем катастрофа в северной Франции.

**Урбан:** *Иногда советская сторона утверждает, что англосаксы хотели, чтобы два негодяя, Гитлер и Сталин, истекли кровью, сражаясь друг против друга до полного изнеможения. Если бы второй фронт был открыт раньше, то один из этих двух, Сталин, был бы не настолько ослаблен, насколько того хотелось бы англосаксам.*

**Робертс:** Абсолютно неверно. Не было таких намерений. Однако верно, что когда Сталин дал добро на подписание пакта Молотова—Риббентропа в 1939 г., он думал, что обе стороны — Гитлер и англо-французская коалиция располагали одинаковыми силами, и что между ними будет долгая и опустошительная война, которая позволит ему сохранить силы, с которыми он вступит в разрушенную Европу. Он никогда не простил французам, что они были разгромлены так быстро и тем самым разрушили его мечту.

**Урбан:** *Была ли у вас возможность спросить Сталина, Молотова или любого другого советского руководителя в 1941 г., как свежеспеченный союз Кремля выглядел на фоне Пакта Молотова—Риббентропа и международной коммунистической пропаганды между 1939 и 1941 годами?*

**Робертс:** Нет, в 1941 г. таких вопросов мы задавать не могли. Да к тому же, не я возглавлял переговоры со Сталиным

вплоть до Берлинской блокады 1948 г. — так что и речи не могло идти о том, чтобы я спрашивал его о чем-либо, хотя я присутствовал на нескольких встречах со Сталиным. Как я уже сказал, я имел дело с Молотовым и Вышинским, но мы были по горло заняты сложными дипломатическими проблемами, так что у нас не было возможности и даже желания ворошить недавнее прошлое. Черчилль делал это несколько раз во время войны, когда Сталин обвинял его в откладывании второго фронта и особенно когда Черчилль остановил отправку конвоев, потому что они теряли слишком много судов. В этих случаях Черчилль обрушивался на русских и напоминал им о деле Молотова—Риббентропа. „Вы не должны забывать, что всего два года назад мы угрожали вам, и мы думали, что вы присоединитесь к Гитлеру для борьбы с нами. Так что вам не следует критиковать нас”, — говаривал время от времени Черчилль. Неприятные события недавнего прошлого всплывали в неофициальных разговорах за рюмкой водки между нами и советскими дипломатами; но в официальных условиях об этом не говорили.

**Урбан:** *Не могла ли эта тема возникнуть между Иденом и Молотовым как бы в шутку или как дружеское подтрунивание?*

**Робертс:** Нет, Молотов был не тем человеком, с которым можно было шутить. Со Сталиным можно было шутить как угодно, но с Молотовым — нет. Сталинское очарование и добродушие часто упоминаются его биографами. Но он мог и внушать страх. В конце 1945 г. или в начале 1946 г., когда я был человеком № 2 в нашем посольстве, Кремль устроил большой банкет для Бернса и Бевина. Банкет продолжался до трех утра, было очень много выпивки, пустые разговоры и тому подобное. Присутствовали двенадцать американцев и двенадцать англичан. Сталин и Политбюро были нашими хозяевами. Среди двенадцати англичан самым молодым был я, а среди американцев — Джеймс Конант, физик-ядерщик, который впоследствии стал верховным комиссаром США в Германии. Когда вечеринка приближалась к концу и все, порядочно накачавшись, стали расходиться, Конант и я были единственными англосаксами,

оставшимися в комнате. Сталин был очень заинтересован в Конанте (он ассоциировался с созданием американской атомной бомбы) и некоторое время разговаривал с ним. Затем кто-то, должно быть, прошептал Сталину на ухо: „Вон там стоит Фрэнк Робертс”, после чего он отделился от своего окружения и сказал мне: „Я вас знаю; вы наш враг”. Так и сказал — „вы наш враг”.

Мы стояли отдельно от остальных, он выпил довольно много, я — тоже. В то время я не очень хорошо говорил по-русски, и все же я начал возражать по-русски как мог. Но Сталин не дал мне говорить: „И еще: вы — сотрудник Интеллидженс Сервис”. Моих познаний в русском языке было достаточно для того, чтобы понять это, и меня это несколько встревожило. „Ну так — да или нет?”, — шутливо продолжал Сталин.

Но мне это не показалось шуткой, и я уже начал размышлять: „ну что, ближайшим рейсом улетаю в Лондон? И позволят ли мне выйти из Кремля?”. Но русские, стоявшие вокруг нас, не восприняли замечание Сталина столь трагично. Один из них сказал мне позже, что шуточка Сталина касалась моей работы над польскими проблемами во время войны. Было очевидно, что я был против советских предложений. Но мне казалось невероятным, что Сталин помнит это. „Он не мог сказать тебе большего комплимента, — продолжал мой русский собеседник, — поскольку Сталин испытывает глубокое уважение к британской Интелледжес Сервис”. Этот небольшой эпизод является хорошей иллюстрацией сталинской манеры найти подходящий момент, чтобы сказать несколько „нейтральных слов” одному из своих иностранных гостей. Вот так дух крайней любезности был смешан в сталинском характере с духом полицейской ищейки.

#### У Сталина не было никакой оппозиции

**Урбан:** Вы были посланником и поверенным в делах в Москве между 1945 и 1947 годами. Этот период примечателен тем, что Сталин и Советский Союз вернулись в эти годы к неукоснительному полицейскому режиму и идеологической ортодоксии. Во время войны Сталин сделал существенные уступки национальным чувствам русских. Он помогал православной

церкви и предоставил ей значительную свободу. Он реабилитировал многое в русской истории и культуре и дал возможность русскому народу вновь почувствовать вкус национальной идентичности.

Самое удивительное, что когда Сталин, вскоре после капитуляции Германии, стал поворачивать стрелки часов назад — в 1937–1938 годы, то он не встретил никакой оппозиции. Вновь была подтверждена первичность тяжелой промышленности; средства информации, наука, искусство, литература и музыка подверглись удушающему контролю Жданова; огромное число солдат, вернувшихся домой после победоносной кампании в Центральной Европе, были посланы в концентрационные лагеря на перевоспитание или на гибель. Восстанавливался сплошной деспотизм.

Меня всегда изумляло, почему русский народ, который принес столь огромные жертвы ради отечества и по идее должен был, по крайней мере, сохранить ту толику свободы, которую он получил во время войны, не смог остановить тирана. Каково ваше толкование этого драматического поворота, пришедшегося на время вашего пребывания в Москве?

**Робертс:** У Сталина (есть ли нужда говорить об этом?) была огромная власть. Он „лично” выиграл войну — или по крайней мере так утверждала советская пропаганда — и он был воистину популярен. Он был чем-то вроде Царя Царей, которому все повиновались. Как у Ивана Грозного, у него был дисциплинированный и послушный полицейский аппарат, который контролировал его друзей и устрашал его врагов. Революция против него в момент, когда лучи его победы сияли как никогда, была не только неосуществимой, но и, что гораздо важнее, невыполимой. Посылая свои войска в лагеря на перевоспитание, он уничтожал „заразу”, которую солдаты Красной Армии могли бы принести домой из опустошенной войны, и все же, в глазах советских солдат, процветающей и либеральной в культурном аспекте Центральной Европы.

**Урбан:** В то время говорили, что, зайдя так далеко на Запад, Сталин допустил две ошибки: он показал Европе, что

такое Красная Армия, и показал Красной Армии, что такое Европа.

**Робертс:** Я согласен с этим.

**Урбан:** *Кстати, чистка русской армии от иностранного влияния после победоносной кампании не была чем-то новым в русской истории. Александр I сделал это после того, как его войска прогнали Наполеона до стен Парижа. Но на этом всякие аналогии кончаются, поскольку либеральные идеи, с которыми молодые русские офицеры познакомились в Западной Европе в 1812–1813 годах, произвели на них глубокое впечатление и привели к созданию тайных революционных обществ и, в конечном счете, — к декабризму. Ничего подобного не возникло в Красной Армии в послевоенный период. Был ли сталинский террор рассчитан на это?*

**Робертс:** Я думаю — да. Идеологический контроль офицерского корпуса при Сталине был огнеупорным. Инакомыслие любого рода безжалостно искоренялось. Лев Копелев является одним из выживших свидетелей того, как это делалось. Кроме того, в подкорке мозга каждого офицера хранилось чудовищное напоминание о том, что произошло со всем командованием Красной Армии в 1938 г. Царская армия при Александре I была либеральным клубом по сравнению с жесточайшей дисциплиной, навязанной Сталиным своим войскам.

Жесткий террор — кнут, был одной из форм политики Сталина по отношению к армии. Его пряником был вновь взятый на вооружение русский патриотизм. Он понимал, что русский мужик сражался не за коммунизм, а за отечество и православную церковь. Он обнаружил, что целое поколение было упущено: молодые люди, служившие в армии, были воспитаны их православными бабушками, а не коммунистическими родителями, если те таковыми являлись.

**Урбан:** *В царской России было принято считать (о чем напоминает манифест Александра I к своим войскам по поводу вторжения Наполеона), что русский мужик будет воевать за православие, отечество и свободу именно в таком порядке...*

**Робертс:** Именно так, и Сталин обратился к этой традиции. Я помню, патриарх Алексий рассказал мне, что во время войны он копал канал на Дону в качестве раба, когда, в один прекрасный день, кто-то похлопал его сзади по плечу и сказал, что ему срочно нужно выехать в Москву — Великий Человек желал его видеть, и патриарх не был уверен для чего. Ему приказали помыться и надеть церковные одежды, а затем спешно отправили в столицу. Он был потрясен, когда Сталин сказал ему, что хочет восстановить пост патриарха. Конец этой истории хорошо известен. Важно, однако, напомнить, что в то время Сталин нуждался в поддержке церкви и получил ее. Он удерживал активность церкви в определенных границах, поскольку, конечно же, не желал, чтобы патриотическая Русь восстала против коммунизма и всего того, что представлял Сталин. В конце концов, ему удалось убедить среднего русского в том, что он, как и цари до него, стоит за православие, отечество и даже свободу в ее коммунистической интерпретации. Лишь немногие наблюдатели из внешнего мира понимали, что ему абсолютно наплевать на все эти ценности.

**Урбан:** *Раз уж мы подняли вопрос о несопротивлении Сталину: я до сих пор не могу понять, почему победоносные советские маршалы не последовали примеру древнеримских полководцев и, пока они были на гребне победы, не сказали генералиссимусу что-нибудь вроде: „Товарищ Сталин, эта страна заплатила горькую цену за свою свободу. Она победила иностранного врага, но в ходе этой борьбы была обескровлена. Наши города и села в развалинах, наши закрома пусты. Мы хотим напомнить вам, что социализм, как его понимают наши войска и наш народ, это свобода и социальные гарантии. Мы не можем позволить вам вернуть страну назад в 1937 г. Мы не согласны с инфантильным деспотизмом Жданова, и мы не позволим, чтобы наши многострадальные солдаты были отправлены в концлагеря только за то, что они сражались в Центральной Европе или были взяты в плен немцами”.*

*Ни у кого, насколько мне известно, не хватило духа разговаривать со Сталиным подобным образом, хотя, похоже, такая возможность была. Но была ли?*



**Робертс:** Вероятно, никто этого не сделал, хотя, я не удивлюсь, если однажды раскрепощенные советские историки обнаружат, что Жуков пытался поднять шум по этому поводу. Но вернее будет предположить, что генералы этого не сделали, и у меня есть три объяснения этому. Первого я уже коснулся — ледянящий кровью пример того, что Сталин сделал с Тухачевским и его товарищами, а также уничтожение всего старшего комсостава в 1937—1938 гг. Память об этом должна была храниться в подсознании каждого военного руководителя, замыслившего освобождение своего народа. Во-вторых, Сталин лез из кожи вон, чтобы вознаградить генералов материально. Им выдавались драгоценные камни, соболиные меха на их шинели, для них были зарезервированы третий и четвертый ряды в партере Большого — они стали привилегированной кастой в значительной большей степени, чем раньше. Генералам, насколько я могу полагать, очень нравились эти привилегии, и очень не хотелось бы расстаться ними. В-третьих, если оставить в стороне вопрос о подкупе, следует отметить, что в русской истории нет традиции бонапартизма. В конце концов, цари и политики принимали решения — главнокомандующие следовали их указаниям.

Рассмотрим судьбу маршала Жукова. В 1947 г., когда я был поверенным в делах, фельдмаршал Монтгомери прислал мне телеграмму, в которой говорилось, что в 1945 г. в Берлине его старый друг маршал Жуков пригласил его ианести ему визит. До сих пор у Монтгомери не было времени сделать это, но теперь, через несколько недель после того, как он занял пост начальника генштаба, у него появилось немного времени, и он хотел бы воспользоваться приглашением. Что же, мы знали только, что Жукова уже давно нигде не было видно, и никто не знал, где он и, вообще, жив он или нет. Вот так Сталин обходился со своим великим и, возможно, ведущим командующим Красной Армии! Вы можете себе представить, как он относился к менее значительным фигурам. Неприятности Жукова возобновились при Хрущеве. Сначала, в 1957 г., Жуков спас Хрущева, когда Молотов и некоторые другие представители „старой гвардии” попытались собрать большинство в Центральном комитете, чтобы избавиться от Хрущева. Жуков доставил в Москву на военных самолетах „лояльных” членов ЦК и таким образом

сорвал замысел Молотова. Но позже Хрущев решил, что роль маршала явно перерастает его непосредственные функции, и, когда Жуков был в Югославии, бесцеремонно избавился от него, хотя тот был членом Политбюро.

**Урбан:** *Давайте подытожим сказанное: у каждого сегмента советского общества были свои причины не сопротивляться Сталину в момент, когда он поворачивал страну назад в одну из мрачайших глав русской истории: крестьяне не сопротивлялись, потому что были разобщены коллективизацией сельского хозяйства; партия и аппарат — потому что у них сохранились свежие воспоминания о великом терроре 1936—1938 годов; военачальники — из-за прецедента с Тухачевским и отсутствия традиции бонапартизма в русской истории и т. д. Не наводит ли все это на трезвые размышления о шансах гласности и перестройки? Будут ли люди, которые не смогли оказать сопротивление Сталину, когда под угрозой были их собственные жизни и свобода, жертвовать собой ради более абстрактных целей, таких как демократия и экономическая эффективность?*

**Робертс:** Мы не можем этого сказать. Я надеюсь, что они пойдут на эти жертвы.

**Урбан:** *Как вы и ваше посольство докладывали о прогрессирующей ресталинизации (если можно употребить этот термин по отношению к данному периоду)? И, вообще, насколько ясно вырисовывались масштабы поворота Сталина к суровому климату конца 30-х годов?*

**Робертс:** В посланиях в министерство иностранных дел Великобритании мы старались подчеркнуть несколько очевидных моментов: русские выбрали военных союзников не по доброй воле, и они вот-вот разорвут этот союз; Советский Союз поворачивает назад к состоянию концентрированного сталинизма (мы, конечно же, не знали, что предстояла новая волна чисток — подобного рода информацию трудно было получить); идея мировой революции возрождена и всячески пропагандируется; Британии как крупнейшей имперской державе мира

предстоит стать главным объектом советских нападков, хотя мы считали, что прямой военной опасности не было, поскольку Сталин понимал, насколько истощена Россия, и предпочитал не рисковать, и т. д.

Джордж Кеннан и я обычно завтракали раз в месяц с весьма интересным человеком по имени Ральф Паркер, который был корреспондентом „Таймс” в Москве...

*Урбан: Кеннан довольно много говорит о нем в первом томе своих мемуаров и с большим подозрением. Он полагал, что Паркер был весьма просоветски настроен...*

**Робертс:** Я знал Паркера, потому что мы были вместе в Кембридже. Он отправился в Чехословакию и был там, когда заключали Мюнхенский договор. Он женился на чешке, которая умерла при родах — что весьма сильно сказалось на нем. Когда он приехал в Россию, НКВД предоставил ему очень неглупую любовницу. Подозрения Кеннана, возможно, не были достаточно обоснованными. Конечно же, убеждения Паркера были очень прорусскими. Я помню, что моя жена, которую женский инстинкт никогда не подводил, говорила мне, что нам не следует слишком много общаться с Паркером. Как бы там ни было, в начале 1945 г. мы все были хорошими знакомыми и ежемесячно завтракали вместе. На одном из этих завтраков, в апреле 1945 г., как раз за месяц до окончания войны, Паркер сказал нам: Происходит нечто неприятное. Партийные агитаторы разосланы по фабрикам и заводам и тема их выступлений такова: „мы, русские, должны перестать считать американцев и англичан своими друзьями и союзниками. То, что мы воевали вместе с ними против немцев — чистое совпадение: с таким же успехом все могло быть наоборот. Все они — наши враги”. И скоро это своевременное предупреждение Паркера начало обрастать фактами.

*Урбан: Как реагировал Гарриман на вашу с Кеннаном интерпретацию будущего? Я бы предположил, что его безразличие к сталинской внутренней политике в прошлом и его позитивная оценка сталинской личности должны были претерпеть эволюцию к 1945 г.*

**Робертс:** Я помню, как Гарриман вернулся со встречи со Сталиным — я никогда не видел его столь потрясенным. Он отправился на встречу, чтобы предложить Сталину продолжить на более или менее тех же условиях, что и прежде, в мирное время, план помощи (UNRA), и Сталин отверг это. Собственно говоря, он не сказал „нет”, но его ответ был близок к тому. Он не хотел связываться с американской программой. По этой же причине он отказался от Плана Маршалла.

Обо всем этом, конечно же, было сообщено в Лондон, и, как я уже говорил, мы не получили в ответ что-нибудь вроде: „Вы там все рехнулись; зачем вы рассказываете такую жуть о наших союзниках?” Наши доклады воспринимались как пересказ фактов, они не противоречили правительственной линии.

*Урбан: До какой степени могли вы следить за разрастанием ждановского идеологического террора?*

**Робертс:** Не намного, поскольку к 1946 г. наши контакты с писателями и интеллигенцией были сведены к минимуму. Они были слишком напуганы, чтобы посещать дипломатические приемы или встречаться с нами где-либо еще. Нам удалось пробить окно в интеллектуальную среду через Исайя Берлина, который был приставлен к посольству на несколько месяцев после войны по просьбе Черчилля. Дело в том, что во время войны Берлин служил в британском посольстве в Вашингтоне и каждые две недели писал доклады об американской политике, которые очень впечатлили премьер-министра. После войны Уинстон Черчилль пригласил его к себе и спросил: „Что я могу сделать для вас, чтобы выразить свою признательность?” Берлин сказал: „Что ж, г-н премьер-министр, мне бы доставило огромное удовольствие, если бы вы могли дать мне какое-нибудь назначение на несколько месяцев в посольстве в Москве”. Вот таким образом Берлин оказался среди нас. Конечно же, он великолепно говорил по-русски и прекрасно знал русскую историю и культуру. Через некоторых членов своей семьи он установил контакты со многими представителями русской интеллигенции. Благодаря ему мы получили полную и наводящую ужас картину того, что Сталин и Жданов сделали с русской

культурой, которая, собственно говоря, подтвердила наши поверхностные наблюдения.

**Урбан:** *Имели ли вы доступ к информации о происходившем в науке — о деле Лысенко, например?*

**Робертс:** Отчасти нам удалось получить информацию через второе окно, которым являлся для нас Эрик Эшби, только что приехавший в Москву в качестве австралийского поверенного в делах. Он был выдающимся биологом и очень интересовался ждановщиной и тем, какой эффект она возьмет на будущее советской науки. Мы также были хорошо знакомы с польским лауреатом Нобелевской премии по имени Парнас, которого русские вывезли из Польши и который получил в Москве статус очень важной персоны. Были и другие полезные контакты.

Мы располагали хорошей информацией в обеих областях, даже если не знали тех деталей, которые западные специалисты, изучавшие советские проблемы, могли собрать в последующие годы. Но со временем поддерживать эти контакты становилось все труднее. Для тех из нас, кто был в Москве во время войны и завел связи в те времена, еще существовала возможность поддерживать эти связи после войны, но приехавшим в Москву в конце 1946 г. или в 1947 г. было крайне сложно завести свежие знакомства.

**Урбан:** *Позвольте мне задать вам более абстрактный вопрос. Несколько выдающихся западных послов при царском дворе, а также те, кто занимался изучением российских проблем, в течение веков выносили одно и то же впечатление: русские традиции, культура и поведение настолько отличаются от западноевропейских, что представляют собой отдельный мир. Грубые или воспитанные, властные или терпимые, русские, образно говоря, являются существами, отличными от нас. Вы пристально изучали русскую жизнь и историю как в мирные времена, так и в дни войны. Согласны ли вы с этим мнением?*

**Робертс:** Решительнейшим образом — нет. Я всегда считал,

что Россия (я говорю „Россия” намеренно) — страна со многими великими достоинствами. Среди русских (я имею в виду не только храбрых крестьян, но и интеллектуалов) множество замечательных людей. И Джордж Кеннан, хотя, возможно, не до такой степени, и моя жена, и я были очень увлечены многими аспектами русской цивилизации, но мы просто не могли принять жуткую марксистско-ленинско-сталинскую систему, господствовавшую в этой стране. Я говорю это не только в свете того, что я увидел при Сталине в 1941 г., а затем — в 1945—1947 годах, но также в свете российского опыта времен хрущевской либерализации. При Хрущеве я был послом и очень симпатизировал его внутренней политике, как сейчас я симпатизирую внутриполитическим реформам Горбачева. Но это были годы сооружения Берлинской стены и кубинского ракетного кризиса.

Русские являются наследниками цивилизации, очень отличающейся от нашей. Они наследники православной Византии, что означает весьма низкое место личных свобод в их иерархии ценностей. Пушкин однажды заметил, что в его времена Россию отличало от западных стран существование индивида ради государства, тогда как на Западе государство существовало ради индивида.

Я считаю, что эта максима верна для всех времен, даже для эпохи хрущевских реформ. Я полагаю, что эта же интерпретация русского национального характера лежит в основе докладов нашего посольства из Москвы при Горбачеве. Нельзя забывать, что ни один российский режим, и, собственно говоря, большинство русских, не испытывали желания превратить Россию в подобие западной страны. Россия и Запад отталкиваются от различных исторических и культурных отправных пунктов и имеют разные цели. Они отличаются друг от друга, но это не означает, что один из них достоин презрения.

**Урбан:** *Я все больше склоняюсь к точке зрения, что не только наше общественное мнение, но даже некоторые западные посольства в Москве переоценивают радикальную природу горбачевских реформ именно потому, что они не сумели оценить византийскую основу русской политической культуры. Разделяете ли вы мои опасения?*

**Робертс:** Да, разделяю. Это большая опасность. В столь надежные времена как нынешние главная задача посольств в Москве заключается в том, чтобы говорить: не торопитесь, очень многое из того, что здесь происходит, достойно всяческого одобрения; будем надеяться, что из этого что-нибудь получится, хотя, вероятнее всего, ничего у них не выйдет; но не забывайте, что даже если что-нибудь получится, Россия не превратится в приятную демократическую страну западного образца, как многие полагают.

**Урбан:** *Считаете ли вы, что пересмотр советской истории в условиях гласности группой мужественных историков и журналистов соответствует национальным чувствам русских? Возводить памятники жертвам сталинизма – это одно дело, но избличение Сталина может привести к непредсказуемым результатам. Валерий Савицкий, заведующий отделом Института государства и права, выступая по телевидению 11 ноября 1988 г., заявил, что Сталин должен быть подвержен публичному суду, который заклеймит его как „злейшего врага советского государства“.*

**Робертс:** Пересмотр советской истории – великолепная затея. Чем дальше он пойдет – тем лучше, если только он не пойдет слишком далеко и не обернется собственным поражением. Некоторые русские спрашивают: „Послушайте, зачем вы клеветеете на него? Ведь это он выиграл войну, не так ли?“ Следует признать неприятную истину, что либерализм никогда не был определяющей чертой русского национального характера. Кто величайшие герои русской истории? Иван Грозный, Петр Великий, Ленин и Сталин – весьма жесткая компания, на руках у каждого кровь бесчисленных невинных жертв. Екатерина Великая, убившая своего мужа, но относительно небольшое число других людей, почитается значительно меньше. Уничтожить сталинское прошлое – рискованное дело. Нужно быть очень осторожным относительно того, как это делать и как далеко можно заходить.

**Урбан:** *Ваше короткое пребывание в Москве между 1945 и 1947 годами в качестве поверенного в делах совпало с периодом американской ядерной монополии. Только Америка владела атомной бомбой, которую она использовала для психологического давления. В ее власти было заставить любую страну мира выполнять приказания США. Имеются свидетельства опасений Сталина, что американцы используют свое могущество по отношению к Советскому Союзу именно с этой целью, т. е. поступят так, как наверняка он поступил бы, если бы СССР первым испытал и начал производить атомное оружие. Но США воздержались от использования этого уникального преимущества и угрозы его использовать и были абсолютно беспомощными перед Сталиным, распространявшим свою империю на всю Восточную Европу. Возможно ли было использовать американскую ядерную монополию в те решающие годы для того, чтобы сдержать Сталина и способствовать соблюдению Ялтинского соглашения?*

**Робертс:** Я, собственно говоря, не вижу, каким образом она могла быть использована, поскольку мы, в конце концов, представляем стиль правления, основанный на общественном мнении. Во время Ялтинской конференции о существовании бомбы уже было известно, но она еще не продемонстрировала свою эффективность. Отсюда результат: американское обладание атомной бомбой не повлияло на исход ялтинской встречи. А после капитуляции Яллонии общественное мнение в Англии и в США не потерпело бы внезапного поворота против нашего союзника в войне. На русских справедливо смотрели, как на народ, без которого мы не смогли бы разрушить нацистскую тиранию и который понес при этом самые большие потери. Идея, что г-н Этли встанет в Палате Общин и скажет: „Я собираюсь помочь венграм и чехам сохранить независимость, угрожая русским атомной бомбой“, была бы абсурдной. Этли лишился бы своего поста в тот же день.

**Урбан:** *И все же эта возможность держала Сталина в страхе.*

**Робертс:** Это показывает, что он недостаточно хорошо понимал нас. Если бы все правительства в мире были тираническими и действовали как им заблагорассудится, тогда угроза русским бомбой могла бы быть хорошей тактикой. Но для нашего типа демократического общества это было неприемлемо.

**Урбан:** Было ли это столь же неприемлемо после речи Черчилля в Фултоне, когда он подчеркнул недопустимость передачи секрета атомной бомбы остальным участникам ООН, имея в виду Советский Союз, и после того, как СССР под американским давлением ушел из иранского Азербайджана? В марте 1946 г. в американской прессе появились воинственные заявления. Госсекретарь Бернс отправил Сталину лаконичное послание. Поскольку Америка была обладательницей бомбы, Сталин немедленно уступил и советская армия была выведена из Ирана.

**Робертс:** Трудно увязывать уход из Ирана с развязкой в Европе. В начале 1947 г. состоялась встреча представителей четырех держав в Москве, на которой мы все еще пытались достичь соглашения по Германии (мы все еще правили Германией вместе). Восточная Европа была, господь тому свидетель, постоянно в наших мыслях, и я лично занимался тем, что пытаюсь, — увы, безуспешно, — спасти Польшу как независимую демократическую страну. Но речь шла о судьбах всего мира, и в масштабах всего мира Восточная Европа играла важную, но не исключительную роль. В любом случае, как я уже сказал, присутствие советской армии на территории Восточной Европы делало всякую эффективную западную инициативу, за исключением войны, фактически невозможной.

**Урбан:** Уинстон Черчилль постоянно повторял, что если бы британское общество не было столь малодушным, Гитлера можно было бы остановить в 1933 г. или даже в 1935 г. не произведя ни одного выстрела, и мы могли бы быть спасены от мясорубки второй мировой войны. В 1945–1948 годах западные демократии тоже могли предотвратить сталинский экспансионизм и идеологическую агрессию, пока у США было это преимущество.

*Историк будущего, который будет смотреть на наше время с большей дистанции, имея более широкий, чем у нас, диапазон исторического обзора, Наверное, отметит, что, несмотря на огромные достоинства демократических систем XX века, им не хватало гражданского мужества и дальновидности в предвидении будущего.*

*Как объяснить, что демократические общества либерального типа не смогли или не пожелали мыслить в терминах „всеобъемлющей демократической концепции“, которую отстаивал Черчилль в своей фултоновской речи?*

**Робертс:** Очевидно, союзу независимых западных стран гораздо труднее согласовать и провести в жизнь такую политику, чем Советскому Союзу и его союзникам. Но я все-таки отметил бы, что в послевоенные годы, в Великобритании, главным образом благодаря руководству Эрнни Бевина, эта концепция принесла плоды в деле восстановления западноевропейской экономики с помощью Плана Маршалла и в эффективной обороне западного мира в результате создания НАТО. В мировом масштабе нынешние позиции западных союзников по сравнению с позициями горбачевского Советского Союза не подтверждают тезис, что советская политика была успешнее западной.

**Урбан:** Были ли у вас, как у человека высоких нравственных устоев (если можно так выразиться) моральные проблемы при работе бок о бок со Сталиным и его людьми, когда приходилось разыгрывать роль их союзников и друзей? Генри Вутон, английский посол при Джеймсе I, охарактеризовал свою роль как работу „честного человека, посланного за рубеж лгать на благо своей страны“. Сстрадали ли вы в этом затруднительном положении, когда были поверенным в делах и позже — послом в Москве? Чувствовали ли вы что-нибудь вроде: „Боже, неужели нет лучшего способа служить моей стране, чем ворковать с этим чудовищным убийцей — советским лидером?“

**Робертс:** В идеальном мире мы еще до 1939 г. должны были иметь то, что мы имеем сейчас, в 1988 г.: хорошо организованный союз стран-единомышленниц с эффективной системой

сдерживания. Это избавило бы нас от необходимости входить в сомнительный союз с неприятными людьми. Чемберлен придерживался примерно такого же мнения. Он не желал связываться с жутким типом по имени Сталин, но затем, проводя политику примирения, связался с не менее жутким типом по имени Гитлер. Когда же примиренческая политика провалилась, даже он готов был рассматривать варианты сотрудничества со Сталиным, правда, крайне неохотно, не только из-за отвращения, которое вызывал у него Сталин и которое Чемберлен испытывал к коммунизму, но также вследствие понятного скептицизма относительно боеспособности Красной Армии, которая только что была обезглавлена и почти проиграла войну с Финляндией.

Возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что не вижу, что еще мы могли сделать в сложившейся ситуации. В конце концов, когда мы приехали на переговоры со Сталиным в 1939 г., мы не планировали создать союз с дьяволом и начать войну — мы вели переговоры о соглашении, которое позволило бы нам удержать Гитлера от нападения на Польшу. А после поражения Франции, когда Британия осталась одна, не мы проявили инициативу и сказали: „Давайте позовем Сталина на помощь”. Скорее факторами, объединившими нас, следует назвать общего врага и общую нужду, когда фашистская Германия напала на Россию. Наш союз не предполагал морального одобрения советской системы и еще менее — превращения наших дипломатов в апологетов этой системы. Лично я не страдал ни от какого морального стресса из-за того, что вел дела с русскими. Мне всегда было ясно, что наш союз во время войны был вопросом практической целесообразности, и что я не должен оправдывать людей, с которыми мы имели дело, или молчать о том, что они совершили. Нашей первоочередной задачей было разгромить Гитлера, и это была самая главная моральная задача. Я рассматривал наш союз с СССР как средство для решения этой задачи. Достижение желанной цели в компании людей, которые нам нравятся, является весьма редкой роскошью, которую мы можем позволить себе в личной жизни, и почти никогда — в отношениях с другими странами.

**Урбан:** *Как вы думаете, Сталина как-либо заботило, что знали о нем такие иностранные политические деятели, как Черчилль, Иден, Гарриман или Гопкинс? Считал ли он, что ему следует выглядеть особенно приветливым и добродушным, потому что в его стенном шкафу так много скелетов?*

**Робертс:** Не может быть никаких сомнений, что западные политические деятели и дипломаты знали о терроре 30-х годов, и я подозреваю, что Сталин знал, что они это знали. Волновало ли это его? Я не знаю. Его аргументом могло быть, что все совершенное им он сделал на благо России. Он был очень скользким партнером.

Когда Арчи Кларк-Кэрр уезжал из Москвы в январе 1946 г., Сталин устроил в его честь ужин. Они очень сошлись друг с другом во время войны, и этот ужин был чествованием его как посла Черчилля. Нас было человек десять. Сталин предложил тост, в котором он сказал Арчи, как высоко ценит его помощь во время войны, и что он хотел бы сделать ему подарок, который продемонстрировал бы его отношение к Арчи. Что он хотел бы получить в подарок?

Это было время так называемого дела русских жен — 27 русских женщин, вышедших замуж за британских военных, которым Кремль не разрешал уехать. Арчи, который был большим шутником, сказал: „Ну что ж, генералиссимус, я стал мусульманином и хочу иметь четыре жены”. Сталин ответил: „Мы уважим ваш исламский обычай, но, насколько мне известно, мусульманин может иметь не больше четырех жен, не так ли? Потому что мне сказали, что вы могли запросить 27 жен”.

Арчи Кларк-Кэрр уехал на следующий день, а я должен был довести до конца переговоры. Я знал, что русские никогда не выпустят одну из четырех обещанных ему жен, потому что эта была выдающаяся грузинская дама, которая вышла замуж за бригадира английской армии, когда англичане организовали помощь Советскому Союзу через Иран и Кавказ. Многие жены были малозначительными гулящими девицами, хотя, конечно же, были и исключения, такие как Виолетта Элвин, которая стала звездой коventгарденского балета. Но имелись особые



резоны для того, чтобы не „выпускать” грузинскую даму — считалось, что она знает слишком много и могла бы нанести ущерб образу СССР за рубежом.

Я оказался впутанным в самый гнусный вид восточного торгашества с омерзительным человеком по имени Деканозов, который числился первым заместителем министра иностранных дел, хотя на самом деле был сотрудником КГБ. О нет, сказал он. Он присутствовал на ужине, и генералиссимус не говорил о четырех, он сказал — две! Нет, ответил я, он сказал — четыре. Наконец, он предложил три, на чем мы и договорились. Такова другая потрясающая черта России. Но не следовало впадать ни в морализацию по этому поводу, ни чувствовать свое превосходство. Таково было положение вещей, и нам следовало приноровиться к этому. (Из двадцати семи жен в конце концов пятнадцати было позволено воссоединиться со своими мужьями в Англии.)

*Урбан: Обнаружили ли вы какие-либо сильные или слабые стороны характера Сталина, когда вы представляли Великобританию на переговорах 1948 г. по поводу блокады Берлина?*

**Робертс:** Генерал Уолтер Беделл Смит, посол США, Из Шатенье и я встретились со Сталиным 2 августа 1948 г. и еще раз позднее. Я не буду вдаваться в детали переговоров, поскольку они хорошо известны; скажу лишь кое-что о слабых и о сильных сторонах Сталина. Одной из слабых черт, которая явно проступила на этих переговорах, было страстное желание Сталина выглядеть настоящим военным, если хотите, профессиональным генералиссимусом. На обоих заседаниях он появлялся в форме генералиссимуса, и ему явно понравилось, когда Уолтер Беделл Смит, профессиональный генерал, разговаривал с ним в такой манере: „мы, старые солдаты, можем между собой договориться”. Беделл Смит был моим старым другом; он был американским послом, когда я был в Москве в 1946—1947 годах. Он хорошо понимал, как следует разговаривать со Сталиным. Как только переговоры заходили в тупик, он заводил пластинку „Мы, старые солдаты”, и генералиссимусу это нравилось. По-

скольку он никогда не был солдатом, ему льстило, что настоящий генерал включал его в клуб профессиональных военных.

Другой слабостью Сталина была его неспособность понять немцев и Германию. В 1939—1941 годах он совершил роковую ошибку, не поверив, что Гитлер нападет на него, вопреки предупреждениям из Англии, США и от его собственных агентов. Он верил Адольфу Гитлеру! В 1948 г. он допустил другую ошибку, установив блокаду Берлина, и дал таким образом западным державам возможность, создав успешный воздушный мост, превратить немцев в своих друзей и потенциальных союзников, а три западные оккупационные зоны в процветающую Федеративную Республику, у которой теперь г-н Горбачев надеется получить кредиты и экономическую помощь.

*Урбан: Как бы вы подытожили ваш опыт по ведению дел с тоталитарными лидерами и правительствами для молодых дипломатов?*

**Робертс:** Во-первых, я считаю, что лучше вести с ними дела, чем не вести. Как говорил Черчилль, „трали-вали” всегда лучше, чем „лиф-лаф”! Во-вторых, пытаться достичь реальных и осуществимых соглашений с ними, когда это равно в наших и в их интересах. В-третьих, не иметь никаких иллюзий, что, делая это, можно изменить суть враждебных отношений между двумя идеологическими системами.

Последний пункт особенно важен, поскольку на Западе нередко ведутся бессмысленные разговоры, что идеология для советской стороны ничего не значит. Конечно, верно, что революция там была более 70 лет назад, равно как и то, что советские руководители и аппарат перестали мыслить только в марксистско-ленинских категориях, ведь и мы не мыслим более только в категориях нашего греко-иудейско-христианского наследия. Тем не менее, идеология, которую они исповедуют, влияет на их поведение. Она определяет их стандарты, дает им точку отсчета для измерения любых человеческих усилий и формирует язык, на котором они разговаривают. Другими словами: соглашения — да, но было бы весьма опасно для нас думать, что Михаил Горбачев потенциально является новым Гельмутом Шмид-

том или Франсуа Миттераном, что, похоже, становится распространенной точкой зрения на Западе. На прощание я сказал бы вашему воображаемому молодому дипломату присказку французского посла XIX века: Россия не является ни такой сильной, ни такой слабой, какой она кажется.

*Перевод Алексея Собченко*